* * *

Россия, ты моя!
И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре сжигающий
листы…
В завшивленный барак,
в распутную Европу
мы унесём мечту о том, какая ты.

Чужим не понята. Оболгана своими
в чреде глухих годин.
Как солнце плавкое в закатном
смуглом дыме
бурьяна и руин,

вот-вот погаснешь ты.
И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты, на ощупь
выйдут в двери
останки наших душ.

…Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в
Кресты.
В края, куда звезда лучом не
доставала,
они ушли с мечтой о том,
какая ты.

СНЫ

Зимою — впадиной каждой,
полостью
пренебрегавшие до сих пор
льды заполняют едва ль
не полностью
речные русла, объём озёр.
Лишь луч, нащупавший прорубь
чёрную
там, где излуки в снегах изгиб,
работу видит локомоторную
мускулатуры придонных рыб.

Россия! Прежде военнопленною
тебя считал я и как умел
всю убелённую, прикровенную
до горловых тебя спазм жалел.
И ныне тоже, как листья палые
иль щука снулая блеск блесны,
я вижу изредка запоздалые
неразличимые те же сны.

* * *

Ракита дряхлая — на месте
перелома
зубцы с волокнами, чьё лыко,
как солома.

В зените ядрышко калёное
светила.
Неосторожная, взяла и полюбила

моё неровное от жизни
многолетней
лицо и голову седую с кучей
бредней.

Всё чаще снились мне —
присыпанные сажей
то своды тусклые заброшенных
пассажей,
то непротопленных усадеб
анфилады,
в которых не сыскать ни книги,
ни лампады.

Психологически я стал привязан
узко
к существованию придонного
моллюска.

Домоседение — вот сделался мой
фетиш,
а то на улице кого-нибудь да
встретишь.

Неосторожная, взяла и увела ты
меня, дичавшего, в заветные
пенаты,

где вётлы ветхие и дряхлые
ракиты
огнём расщеплены и дуплами
раскрыты

И вечно дрёмная меж берегов
излука,
где в мае соловьи, а в декабре ни
звука.

* * *

Чтобы стало на душе светлее,
надобно нам сделаться постаре,
рюмку в баре,
спички в бакалее.
Чтобы стала голова умнее,
а не просто черепушка с клеем,
нужен Тот, Кому всего виднее,
а не пан Коперник с Галилеем.

А ещё стило и лот в дорогу,
чтоб вернуться с тучей тайн
трофейных

в одночасье к милому порогу
из бессрочных странствий
нелинейных.
Ибо наше небо не могила
с брошенною наугад бутылкой,
а всё то — о чём ты говорила,
ночью мне по молодости пылкой.

ПАРИЖ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Над Сеной ива клонила гриву.
Дождь начинался раз сто на дню.
Народ стоял на ретроспективу
Дега: бега, балерины, ню,
оттенки от голубого к пиву
и дальше — к рыжему и огню.

По-катапультовски раскрывался
мой зонт раскидистый, в меру
стар,
и плащ двубортный
пообтрепался.
А за углом — сохранился бар,
где к Эренбургу завербовался
в товарищи Элюар.

* * *

Путаными путями
время пришло к концу

и провело когтями
с нежностью по лицу.

На родных бережках
я с солью в глазных мешках.

Тебя же юнит на редкость
слоистых одёжек ветхость.

Будем учиться сами
тому, что забыли, снова,

обмениваться томами
Истории Соловьёва.

Тсс, перейдя на свист,
ветер взвихряет лист.

Над темнотой дворов
новый помёт миров.

Галактики нас, похоже,
способны заворожить.

Но что за ними — не можем
даже предположить.

До ближней живой звезды
тысячи лет езды.

ЦАРЬ

…Вдруг проснулся не у
пыльных полок,
а проникшим в полутёмный
терем,
на подушках Софьи Палеолог
полугосударем-полузверем.
И когда поднёс к губам,
намятым
за ночь заревую, ковш
долблёный,
быстротечной жизни склон
покатый
перелился в вал волны солёной.

Да, кажись, я правил этим миром,
где шумят леса до океана,
где зенит меняется с надиром
местом в толще белого тумана.

Нет, не помню, кем я был на
свете.
Нынче ж в положенье
переходном
я уже по щиколотку в Лете,
в мутном молоке её холодном.

ЕВРАЗИЙСКОЕ

Существую сам, а не по воле
исчисляемых часами дней.
А окрест — непаханое поле,
поле жизни прожитой моей.

Кое-как залеченная рана
неспокойных сумерек вдали.
Визг лисиц в улусе Чингисхана,
вспышки гроз над холками
земли.

Кто-то вновь растерянных
смущает
тем, что ждёт Россию впереди.
Кто-то мне по новой обещает
много-много музыки в груди.

Разгребал бы я костёр руками,
только дождь упорнее огня.
Воевал бы я с большевиками,
только червь воинственней меня.

Взятую когда-то для прокорма
нам тысячелетие спустя
языки стихающего шторма
возвращают гальку, шелестя.

А в степи, в солончаках всю зиму
не поймёшь средь копий и
корзин
то ль акын — соперник муэдзину,
то ль акыну вторит муэдзин.

ЦАРЬ (2)

Не в степном зачуханном улусе,
а в лесном московском эмпирее
поднесу к губам, заросшим усом,
золотую чарку романеи.
Облачусь в парчовые доспехи,
за оконцем золотые пятна
потускнели листьев и помехи
увеличились тысячекратно.

Впредь ветрам в отместку
огрубелым
и путям их неисповедимым
я останусь тут последним Белым
памятным Царём непобедимым.
И покой моей оберегая
родины, чьей гибели не емлю,
пусть альтернативная, другая
длится жизнь наследовавших
землю.

* * *

Сделалось с годами, допекая,
всё слышней дыхание в груди,
с ним таким теперь на пик Синая,
потакая звёздам, не взойти.

Кажется, что жизненная квота
вычерпана — но, наоборот,
из кармана заставляет кто-то
доставать затрёпанный блокнот.

Словно это юнкер темноокий
у себя в казарме налегке
спит и видит сон про одинокий
и мятежный парус вдалеке.

* * *

Кто не гнул хребта под серпом и
молотом,
тот живёт на старости водянистой,
не стыдясь рубашки с потёртым
воротом,
лишь была бы чистой.

А сегодня в гавани с
полуржавыми,
но ещё надёжными катерами,
окаймлённой камнем с сухими
травами,
пригибаемыми ветрами,
я расслышал в шёпоте волн
послание
от живущей в море открытом
птицы
про посеребрённое мироздание
и его естественные границы.

Чтоб уйти за них — не потребно
снадобье
перед сном накладывать на
болячки,
а тем более уж не надобны
для колючей проволоки кусачки.

* * *

Нет, не поеду — хмуро, волгло.
Но вот уже трясёмся всё же
в купе с каким-то бритым волком,
наёмным киллером, похоже.

И дребезжащая открыта
в дыру космическую дверца,
что силой своего магнита
вытягивает магму сердца.

Выходишь затемно на старом
перроне в рытвинах глубоких
ещё с времён тоталитарных,
скорее серых, чем жестоких.

На улице — где все бессрочно
почти друзья поумирали
и сосунки в трущобах блочных
диковиною нынче стали,

уже светает; припозднился:
листва осыпалась дотоле.
Когда-то ведь и я родился
при Джугашвили на престоле.

Жизнь прожужжала мимо уха.
На кнопку надавлю упрямо.
Слепая, мне по грудь, старуха
не сразу и откроет… Мама.

* * *

Как дальневосточная рыба,
в сеть
заходя, спасается от баклана,
в сильный дождь случалось и
мне сидеть
и на пятна мокрых огней глядеть
за стеклом китайского ресторана,
кучку риса палочками в горсти
мимо рта стараясь не пронести.

Сколько, молодясь, пересёк
границ,
пока вдруг не понял, что тигр
бумажный,
и несметных перелистнул
страниц,
как к единственной —
возвращаясь к каждой.
Поколенье стало моё седо
и к тому ж прорежено от и до.

Ох, всё продолжительнее,
друзья,
интервал молчания год от году.
Уж такая, верно, моя стезя:
самому себе открывать глаза
на неясную до конца природу
своего труда.
Своему труду
в немоте аналог вот-вот найду.

* * *

Мы смолоду были с тобой
самородки,
но вот оказались на дне —
твоей нерасчётливо скорой
походки
отчасти, считай, по вине.
Ведь помнишь, как, бодро шагая
вначале,
ты вдруг задохнулась в пути:
— Россию, которую мы потеряли,
уже никогда не найти.

Я был только автор ненужных
нетленок.
Ты — русая птица ночей.
Зачем же тогда в либеральный
застенок
таскали выпытывать: чей?
Когда, прокурорствуя, Пемзер
в колонках
мне на спину вешал туза,
возилась со мной ты, что с
малым ребёнком,
рукой прикрывала глаза.

...Два лебедя здешних куда-то
уплыли,
лишь домик понтонный стоит.
Запутаны кроны плакучие были,
как старые сети, ракит.
Да разве нет хлипкой надежды
на чудо,
на новый лимит бытия?
И у новодевичих башен —
Откуда
ты знаешь? — упорствовал я.

Хранится у Грозного в
библиотеке,
которую всё не найдут,
прижизненное руководство
Сенеки,
как с жизнью прощаться должны
человеки,
и Хроники будущих смут.

ЗАСВЕТЛО

Когда ты засветло бываешь
в потёмках дома моего
и всё как будто обещаешь,
не обещая ничего
и бормоча: какое счастье
вдруг после чёрной полосы,
расстегиваешь на запястье
соскальзывающие часы,

я, как ныряльщик неразумный,
поспешно убеждаюсь в том,
что беспокоит вихрь бесшумный
шиповник белый за окном,
и не страшусь колоть щетиной
твоё раздетое плечо,
и мне от нежности звериной,
как молодому, горячо.